

Снега былых времен

Наша неистощимость в юморе привела однажды Валентина Николаевича едва ли не в ярость. В дни, когда нас выгоняли из здания школы, и мы могли оказаться без помещения, вышла стенгазета под названием "Ситуация", в которой, вопреки действительно сложной ситуации, мы хохмили, отнюдь не соблюдая меры. Мрачно глядя на эту "Ситуацию", Валентин Николаевич произнес более чем странную фразу: "В армии юмор не нужен." Эту фразу Зяма тут же взял на вооружение, применяя ее в самых неожиданных обстоятельствах.

Именно здесь, на квартире Милы Нимвицкой, произошло превращение Зямы в Зиновия Гердта. Случилось это незадолго до показа двух актов представителям тех ведомств, от которых зависела дальнейшая судьба нашей студии. И тут кому-то пришла мысль, поначалу шутовская, что Зямина фамилия звучит несерьезно и недостаточно благозвучно. Не потому, что еврейская — никому не пришлось в голову считать неподходящей фамилию Саши Гинзбурга. Решили, против чего не возражал и Зяма, придумать ему псевдоним.

Посыпались предложения, самые неожиданные, подчас не лишённые насмешливого подтекста. Они отвергались одно за другим. Кто-то предложил фамилию известной балерины, Елизаветы Гердт.

Предложение было встречено одобрительно, в том числе и Зямой.

— Только обязательно — Гердт-т! С буквой т на конце, — категорически заявил Арбузов.

— Герды-ты — это звучит гордо-то, — сострел кто-то. Так Зяма, Залман, как мы часто его называли, стал Зиновием Гердтом.

Событие это было отмечено и в "Студияте", которая, как и песня, сочинялась коллективно — Арбузовым, Плучком, мной и самим Зямой, на квартире Гладкова.

... Это Зяма.....

*Что от имени отрекся,
Ради клички сладкозвучной.
И как только он отрекся,
"Гердт" — прокаркал черный ворон.
"Гердт" — шепнули ветви дуба.
"Гердт" — заплакали шакалы,
"Гердт" — захохотало эхо.
И услышав это имя,
Он разжег костер до неба.
И вскричал: "Хвала природе!
Я приемлю эту кличку!"*

Я пытаюсь, сквозь нагромождение годов и событий, разглядеть его — таким, каким он был в те, довоенные годы.

Невысокий, худощавый, черноволосый и темноглазый, с густыми бровями, с годами еще более погустевшими, с быстро меняющимся выражением лица, от веселого, озорного до серьезного, задумчивого и даже грустного.

Но почему-то возникают лишь какие-то случайные, как их называет Милан Кундера, — фотографии.

...Концерт в Большом зале Консерватории, поет Доливо. Поет песни Бетховена: "кто врет, что мы, брат, пьяны? Мы веселы просто. Ну, кто так бесовски врет". Мы с Зямой в толпе, аплодирующей певцу, вызывающей его на бис. И вдруг Зяма кричит: "Требуем полного Долива!" Мне смешно, и я вместе с ним кричу: "Полного Долива!"

...Я лежу больной, в своей комнате, в Останкине. Зяма сидит рядом, рассказывает о том, что нового в студии. Приходит женщина-врач и заставляет меня смерить температуру при ней. Мы с Зямой шутим, острым, я — с градусником под мышкой. Зяма рассказывает какой-то анекдот, врач смеется. Смеясь, смотрит на градусник и переводит на меня удивленный взгляд. "Вы знаете, что у вас 39 и 6?" — спрашивает она. Зяма пожимает плечами:

— 39 и 6? Подумаешь! Для него это не температура.

Врач с трудом сдерживает улыбку.

... На последние деньги пьем в только что открывшемся коктейль-холле достаточно дорогой для нас напиток, вместе с симпатичной девушкой, очередным Зяминим увлечением. Зяма шепотом спрашивает: "У тебя что-нибудь осталось?" Я пытаюсь незаметно нащупать в кармане какую-то мелкую купюру, отдаю ему. Выходим на улицу. Зяма оста-



навливает такси. "Мы вас отвезем," — говорит он девушке. "Зачем? — удивляется она. — Я живу совсем близко". Но все же, довольно посмеиваясь, садится в такси. Через два-три квартала выходим и провожаем ее до подъезда.

— Вот так, ребята! — удовлетворенно говорит Зяма.

Трамваи уже не ходят. Мы бродим по засыпающему городу.

... Мой день рождения. Сколько мне? 18? 21? Не помню. Мама хлопчет у стола. Зяма поздравляет ее и, одобрительно оглядев заставленный закусками стол, потирает руки и важно спрашивает: "А сладкий стол будет?" — "Будет, будет!" — смеется мама, она давно знает Зяму и относится к нему с нежностью. По сей день живет в нашем доме этот вопрос: "А сладкий стол будет?"

Мелочи, но почему-то запомнились.

Тогда я еще не понимал, что его веселость, остроумие, озорство, естественно и неразрывно сочетается с глубоко скрытой — может быть, даже для него самого — лирической основой.

Не случайно в его заявке на роль в будущем "Городе на заре" отчетливо проявилась та лирическая тема, которая впоследствии так покоряла зрителя в его "Фокуснике". Даже в остром, беспощадном решении образа Паниковского, простирает эта горькая, щемящая, лирическая нота.

При всей его веселости, озорстве, любви к остроумию, в нем был тот высокий серьез, без которого нет, не может быть подлинной таланта.

После войны Зяма пришел в Театр Образцова — спрятал свою больную ногу за ширмой. Но прошло немного времени, и его имя, имя человека за ширмой, стало произноситься с восхищением.

Как-то, уже после своей демобилизации, я провожал его на спектакль. Мы шли по Тверской, и он с увлечением рассказывал о работе в новом спектакле. Он готовил роль конферансье в "Обыкновенном концерте", читал мне тексты, сочиненные им для конферансье, — куклы, ставшей столь знаменитой, что на восьмидесятилетии Зямы оказалась едва ли не самым ярким его участником.

"Обыкновенный концерт" стал событием в театральной жизни Москвы, и не будет преувеличением сказать, что благодаря именно его великолепной игре. В ней сказались и опыт студийных импровизаций, и его остроумие, а главное — врожденный артистизм. Я восхищался, любя его филигранной работой с куклой, радовался за него — это наш Зяма!

Затем — новая блестящая работа — Луциус в штоковской "Чертовой мельнице". И вот уже для зрителей театр Образцова становится театром Образцова и Гердта, что неиз-

бежно должно было, рано или поздно, привести к его уходу — руководители театров ревнивы.

Зямин голос, его своеобразие, это, конечно — дар небес. Но голос — всего лишь голос. Для того, чтобы он стал тем, чем стал голос Гердта, за ним должна стоять личность. Зяма был личностью привлекательной и неповторимой.

И когда этот голос прозвучал в фильме "Фанфан-Тюльпан", стало ясно, что этот голос за кадром — голос выдающегося артиста. Он дублирует в "Полицейских и ворах" Тото, и Тото уже немислим для нас без голоса Гердта.

Это не просто дубляж.

Голос Гердта завоевал зрителя. И стало совершенно неизбежным появление на экране самого артиста.

Появился. Стал одним из самых любимых актеров. И никому не приходило в голову замечать его хромоту.

Зиновий Гердт — за ширмой, за экраном и на экране кино, на эстраде и на экране телевизора, и на сцене театра "Современник" отличался одним редким и неизменным свойством — он был предельно естествен и в гриме, и без него, в театральной костюмке и в своей куртке за столом в "Чай-клубе", он вызывал полное доверие к себе, к тому, что говорил, как слушал других, как смеялся.

Миша Львовский рассказывал, как однажды, стоя за кулисами, разговаривал с ним. И когда Зяма вышел на эстраду, в нем не произошло никаких изменений, он и на сцене был таким же, как только что за кулисами. Стоявший рядом с Мишей известный артист, покачав головой, признался, что на такое он неспособен.

Зяма сыграл в кино множество эпизодических ролей, самых разнообразных, и в каждой был естествен, органичен и неподражаем. Достаточно вспомнить его еврея с фамилией Сталин в фильме "Солдат Чонкин" или дедушку в картине Быкова "Автомобиль, скрипка и собака Клякса".

И вот он появился на экране телевизора. И стало ясно, уже не только знавшим его лично, что он обладает редким, удивительным даром — даром общения.

Всякий талант — загадка. И сколько бы мы ни старались ее разгадать, загадка остается. Это — тайна.

Но тогда, и в ТРАМе, и в Студии, при том, что все мы Зямой любили, в том числе и наши Николаевичи — Арбузов и Плучек, воспринимали мы его все же несколько поверхностно. Когда его лирическая, глубинная натура чуть приоткрывалась, это вызывало поток шуток. Думаю, что это его задевало. Недавно Мила Нимвицкая, уже после Зяминой смерти, сказала: "А ведь мы и не предполагали, что он вырастет в такую крупную личность. Зяма, Зямочка..."

Да, крупная личность.

С годами Вани, Ванюши, Ванечки становятся Иванами, Иванами Петровичами. Зяма оставался Зямой. Нет, конечно, к нему обращались по отчеству, называли Зиновием Ефимовичем люди официальные и мало знакомые. Для тех, кто его знал, он как был, так и остался Зямой. Это не было просто привычкой, это было проявлением особой, почти интимной формой его восприятия. Зрители знали его как Зиновия Гердта, но и они частенько, с любовью обращались к нему по имени.

Он этим гордился. Однажды сказал: "Самое большое, из всего, чего я добился, это то, что зрители называют меня Зямой."

За этим не просто популярность, не просто симпатия. Он действительно оставался таким, каким был в юности, — редкий случай самосохранения личности в тех условиях, в каких проходила наша жизнь. Да, старел, лицо покрывалось морщинами, седел. Делался глубже, значительней. Но, всякий раз, встречая его в домашней обстановке, в гостях, в доме кино, глядя на него по телевизору, я узнавал его таким, каким знал в молодости. Он не менялся в самом главном — в естественно-сти поведения. Ему была чужда любая поза. Он никогда не предавал самого себя. Никто, никогда не видел его подписи под сомнительными, угодными начальству письмами. Не менялось с годами и его чувство юмора, а юмор его был легким и заразительным. И таким оставался. А как часто у многих и многих, остроумие превращается в злословие, а юмор в пустое зубоскальство!

В сорок первом, в самом начале войны, в Ялте, от туберкулеза умер поэт Мирон Левин. Его четверостишием я воспользовался для эпиграфа к этим заметкам.

Да, как ни странно, в остроумии есть своя доблесть! И если она есть, жизнь предстает как подвиг.

У Зямы была такая доблесть. И не только в остроумии.

"Но где снега былых времен? — спрашивал когда-то средневековый французский поэт Франсуа Вийон.

В нашей, и только в нашей, памяти.

В памяти наших детей и внуков останутся снега других времен. Все проходит.

Куда делись патефоны, без которых представить себе довоенные времена просто невозможно? Граммофоны наших отцов и дедов сохранились только в музеях, да в режиссерских киностудиях и театров. Ушли, уходят радиолы, проигрыватели.

Недалек час, когда устареют и лазерные диски, уже пришло цифровое телевидение, Интернет и еще Бог знает, какие чудеса. Истлеют, сотрутся телевизионные записи и негативы кинолент. Кое-что, быть может, попытаются перевести на новые, неведомые нам способы воспроизведения, и наши правнуки увидят снега былых — наших — времен.

Что-то их удивит, что-то насмешит, а что-то, и очень многое, они просто не поймут.

Да что говорить?! Даже совсем недавнее, прожитое нами в молодости, нам же самим уже непонятно и загадочно, как времена Хамурапи. Мы сами удивляемся: это с нами было? И мы этому верили?

Снега былых времен.

Когда я думаю о Зяме, то спрашиваю себя: будет ли понятно нашим внукам и правнукам, что значило для нас это имя — Зиновий Гердт и чем он был для многих-многих миллионов телезрителей, регулярно смотревших "Чай-клуб"? Не знаю. Многое окажется для них непонятным, наивным, старомодным.

Но то, что является основой его удивительного таланта, — естественность, доброжелательность, умение слушать своего собеседника, редкое, беспримерное умение, его улыбка, его смех, окажется — я в этом убежден — понятным и близким для тех, кто способен к восприятию добра.

А таких, во все времена, хоть и не так много, но все же не так уж и мало.

● Татьяна Рейнова,
Людмила Нимвицкая,
Зиновий Гердт, Исак Кузнецов.
Ноябрь 1996г.